



Title	"Школа Сидорова." Воспоминания младшего современника
Author(s)	Зырянов, Павел Н.
Citation	Acta Slavica Iaponica, 13, 256-271
Issue Date	1995
Doc URL	https://hdl.handle.net/2115/8089
Type	departmental bulletin paper
File Information	KJ00000034054.pdf



“Школа Сидорова.” Воспоминания младшего современника

Павел Н. Зырянов

В 50 лет садиться за мемуары, наверно, еще рановато. Но от запросов времени нельзя отмахиваться. Попросят рассказывать о Столыпине — надо рассказывать о Столыпине. Попросят рассказать о себе — тоже надо рассказывать. Вот и Вада-сенсей, когда я был в Токио, усадил меня в укромном месте, включил микрофон, и я рассказывал, кажется, больше часа.

Я, конечно, понимаю, что тут дело не только и не столько во мне. Не столько я интересен, сколько окружавшие меня люди, известные зарубежным коллегам по их книгам, но гораздо меньше как живые люди. Интересна и та эпоха, которая тогда казалась бесконечной, а потом вдруг неожиданно закончилась, эти, выражаясь есенинским языком, “слишком такие недавние, отзвучавшие в сумрак года.”

Поэтому и начну я не с рассказа о себе, а с небольшой историографической справки. Все мы, кто сдавал так называемый “кандидатский минимум,” в числе других книг обязаны были одолеть трехтомный труд Петра Ивановича Лященко “История народного хозяйства СССР.” Конечно, мало таких героев, кто одолел этот труд от корки до корки. Я к сей доблестной когорте не принадлежу, хотя общее представление о книге имею и с годами отношусь всё с большим почтением и к ней, и к её автору.

Лященко — экономист старой русской школы. Он был приват-доцентом Петербургского университета, профессором Томского, а затем стал членом-корреспондентом Академии Наук СССР. До революции он написал такие книги, как “Крестьянское дело и пореформенная землеустроительная политика,” “Хлебная торговля на внутренних рынках Европейской России,” а в 1925 г. вышла его монография “Очерки по аграрной эволюции России.”

“История народного хозяйства СССР” была издана незадолго до начала войны и затем неоднократно переиздавалась. Одно из её достоинств состоит в том, что она хорошо сбалансирована. Каждый сектор экономики занимает в ней примерно такое место, какое он занимал в действительности. В том числе есть и небольшой раздел о монополистическом капитализме в России.

Лященко умер в 1955 г., и сейчас уже немного осталось людей, кто знал его в жизни. Мне о нём рассказывал мой учитель И. Ф. Гиндин. Даже показывал его письмо, написанное в разгар борьбы с “космополитизмом.” Иосиф Фролович оказался одной из жертв этой кампании, и Лященко выражал ему сочувствие.

Ещё одна историографическая справка — об Аркадии Лавровиче Сидорове. Свой жизненный путь он начинал в 1919 г. как комсомольский работник, затем получил образование в Коммунистическом университете им. Свердлова и Институте красной

профессуры, ряд лет находился на партийной работе. В 1937 г. он перешел на научно-педагогическую работу, в 1948–52 гг. был проректором МГУ, а в 1953–59 гг. возглавлял Институт истории. Умер он в 1966 г.

Сидорова я ни разу не видел. Его ученики всегда восторженно о нем отзывались (см.: К. Н. Тарновский. “Путь учёного,” — *Исторические записки*, 1967, т. 80) Но И. Ф. Гиндин, который был его ровесником, говорил о нем довольно сдержанно. По его словам, Сидоров не смог или не захотел избавиться от замашек потитработника — партийно-пропагандистский уклон чувствовался и в его научной работе.

До войны Сидоров специализировался в основном на критике своего учителя М. Н. Покровского. Однако в 1940 г. в журнале “Проблемы экономики” промелькнула его рецензия на книгу Лященко — “Ценная книга по истории народного хозяйства.”

Трудно сказать, можно ли включать А. Л. Сидорова в число тех чемпионов, которые прочитали эту “ценную книгу” от начала до конца. Но раздел о монополистическом капитализме был прочитан и, как говорится, запал в душу. Острый ум партийного пропагандиста сразу уловил возможность подкрепить на русском материале ленинское учение об “империализме как высшей и последней стадии капитализма” и победоносно выехать на доказательство закономерности и неизбежности Великой Октябрьской социалистической революции. Ибо поиском предпосылок Великого Октября было занято не одно поколение советских историков.

Отныне Покровский с его ошибками был оставлен в покое, и всё внимание А. Л. Сидорова переключилось на российский монополистический капитализм. Причем сбалансированный подход Лященко вскоре стал вызывать недовольство, и старый ученый был подвергнут суровой критике за недооценку уровня развития российских монополий.

Судя по всему, Сидоров был талантливым педагогом. В университете вокруг него сложился кружок, состоявший из очень одаренной молодежи. Оказавшись на посту директора Института истории, Сидоров многих из них перетянул к себе. Так в Институте оказались А. Я. Аврех, А. М. Анфимов, В. И. Бовыкин, П. В. Волобуев, М. Я. Гефтер, М. С. Симонова, К. Н. Тарновский. Для всех них Сидоров навсегда остался божеством. Но божество неодинаково относилось к своим почитателям. Судя по некоторым моим догадкам, любимым учеником Сидорова был Тарновский. Он всегда старался держать его поближе к себе. Это вызывало чувство ревности у других учеников, в первую очередь, как мне кажется, у Бовыкина. Двое из учеников Сидорова — Бовыкин и Волобуев — обнаруживали административную жилку, или, говоря проще и грубее, — карьерные наклонности. Самым же талантливым педагогом был, пожалуй, всё же Бовыкин.

В литературной критике того времени закрепилось выражение “литература лейтенантов.” Так называли поколение писателей, прошедших через войну младшими офицерами и заявивших о себе где-то в конце 50-х — начале 60-х годов. Но была и “историография лейтенантов.” Аврех, Анфимов и Тарновский пришли в университет в военных шинелях. Не могу сказать, как обстояло дело у Волобуева и Гефтера. Но Бовыкин не воевал — это точно. По-моему это давало друзьям повод смотреть на него несколько свысока, а у него вызывало ответные эмоции. Вообще-то мне кажется, что личная неприязнь часто опережает расхождения во взглядах. Впрочем, всё это выяснилось много позднее, а тогда, в середине 50-х годов, “школа Сидорова,”

действуя дружно и напористо, овладела Институтом истории, как большевики Зимним дворцом, и заняла в нём доминирующие позиции, потеснив старичков и старушек, долгие годы тихо занимавшихся историей очень отдаленных эпох, не имевших никакого отношения к предпосылкам Великого Октября.

Крутой и решительный администратор, Сидоров нередко пересаживал молодых сотрудников с облюбованной ими тематики на ту, которую он считал нужным изучать в первую очередь. Получался своего рода брак по принуждению. Так, административно-волевым порядком в Ленинградском отделении Института истории на изучение банков и монополий была мобилизована целая группа молодежи (Р. Ш. Ганелин, В. С. Дякин, Б. В. Ананьич и др.). В. С. Дякин, по своей первоначальной специальности — германист, стал изучать германские капиталы в России. Впоследствии он оставил эти проблемы, но к германской истории больше не вернулся, а занимался внутривосточной проблематикой, эволюционируя все ближе к аграрному вопросу.

Тогда же, что бы ещё более усилить избранное им главное направление исследований, в Институт были приглашены некоторые опытные специалисты со стороны, в частности, И. Ф. Гиндин и С. М. Дубровский.

И. Ф. Гиндин закончил экономический факультет Петроградского политического института. Через своего учителя А. В. Венедиктова он был связан со старой школой русских экономистов. Конечно, он давно перековался в марксиста, но при этом не утратил живой ум и ту цепкость глаза, которая характерна для настоящего исследователя. Поэтому его работы всегда как-то подозрительно не вписывались в существующие трафареты, и у бдительных критиков рождалось желание наклеить на него какой-нибудь ярлык. Чаще всего на Иосифа Фроловича навешивалось обвинение в “гильфердинговщине.” В начале 30-х годов Гиндин был арестован, несколько лет провел в заключении, а затем, находясь на полусвободном положении, заведовал финансовой частью нескольких гулаговских строек, начиная от Беломорско-Балтийского канала и кончая Челябинским металлургическим заводом.

После войны И. Ф. Гиндин вернулся в Москву, несколько лет преподавал в Московском финансово-экономическом институте. Однако в разгар борьбы с “космополитизмом” один из аспирантов написал на него донос, и Иосифу Фроловичу пришлось уйти из института.

В Институт истории Иосиф Фролович перешел из Министерства нефтяной промышленности. К этому времени он был автором трёх монографий, посвященных банковско-финансовой системе дореволюционной России. В Институте истории судьба Иосифа Фроловича не сложилась. Но об этом несколько позднее, когда я перейду непосредственно к своим воспоминаниям.

При всей своей “заикленности” на проблемах “империализма,” банков и монополий, Сидоров понимал, что изучение эпохи должно быть комплексным. Поэтому некоторые из его учеников занялись смежными проблемами. А. М. Анфимов специализировался на аграрно-крестьянских сюжетах, М. С. Симонова приступила к изучению столыпинской аграрной реформы, А. Я. Аврех занялся политической историей третьей юнкерской монархии.

Ошибкой А. Л. Сидорова, по-видимому, было приглашение С. М. Дубровского, незадолго до этого вернувшегося из ссылки. В 30-е годы, накануне своей ссылки, он выпустил объемистую книгу о столыпинской аграрной реформе. Пострадал он, как

говорили, в результате какой-то склоки, участники которой писали друг на друга доносы. Когда он явился в Институт истории, ему предложили заняться столыпинской аграрной реформой. Эта тема была отнята у Симоновой, которая к тому времени успела опубликовать по ней две большие статьи, не потерявшие научного значения и по сей день. Новая монография С. М. Дубровского о столыпинской аграрной реформе была издана в 1963 г. Она содержит богатый фактический материал и с этой точки зрения необходима каждому, кто изучает эту тему. Но в идейно-методологическом отношении автор остался на позициях наивного марксизма 30-х годов. Прерванное же исследование Симоновой так и не возобновилось. Не вполне сложилась и дальнейшая её научная судьба. Наука, таким образом, потеряла и интересное исследование, и многообещающего исследователя.

В Институте истории С. М. Дубровский вскоре показал себя настоящим сыном 30-х годов. Огонь его классово-непримиримой критики сосредоточился на двух объектах — на А. М. Анфимове и на памятнике Юрию Долгорукому, что стоит напротив Моссовета.

С. М. Дубровский, пожалуй, был первым, кто начал систематически поносить Анфимова за “принижение” уровня развития сельского хозяйства. Свои “филиппики,” произнесенные в стенах Института истории, Сергей Митрофанович отсылал в Отдел административных органов ЦК КПСС, в ведении которого находился КГБ. В обобщенном и сильно смягченном виде они вошли в его книгу о столыпинской реформе.

Юрий Долгорукий был избран мишенью для нападок потому, что для Дубровского он олицетворял ненавистное ему имперско-полководческое начало 40-х годов, когда прославляли великих князей, полководцев, некоторых царей (Ивана Грозного, Петра I). Сергей Митрофанович же был верен бунтарско-революционному духу 20-30-х годов, когда все цари и их полководцы считались угнетателями, а прославлялись Степан Разин, Иван Болотников, Пугачёв, Ленин и его соратники.

До революции на месте Юрия Долгорукого стоял генерал Скобелев. После революции генерала убрали и поставили памятник Свободе. Потом Свободу заменили на Долгорукого. Теперь Сергей Митрофанович прилагал усилия, чтобы произвести обратную замену — Долгорукого на Свободу. Доносы на основателя Москвы сыпались не менее часто, чем на Анфимова. Не раз Сергей Митрофанович торжественно объявлял, что вопрос решен: Свобода восстанет на прежнем месте, а Долгорукого упекут в Новодевичий монастырь, и его лошадь уже не будет стоять хвостом к ЦПА ИМЛ и к спрятавшемуся за кустами памятнику Ленину. Но князь чудесным образом устоял. Устоял тогда и Анфимов, потому что на доносы Дубровского в то время мало кто обращал внимание.

Сергея Митрофановича я помню по первым годам аспирантуры. Он был высокого роста, полный, очень благообразной и приятной внешности — бородка клинышком, как у старых академиков. Выступая на заседаниях, любил вернуть латинское изречение и, снисходя к невежеству аудитории, тут же переводил его на русский язык. В личных беседах был очень обходителен, с удовольствием рассказывал о даче, о кошке, котятках и других приятных вещах.

Сергей Митрофанович всего какой-то год не дожидаясь той травли, которая развернулась против “нового направления,” в том числе и против Анфимова. Я думаю, он принял бы в ней самое активное участие. Но он внезапно умер осенью 1970 г.

После него осталась неопубликованная монография, в научном отношении большой ценности не представлявшая и небрежно выполненная. Благодаря настойчивости его вдовы, Б. Б. Граве, она увидела свет.

Вообще, по моим наблюдениям, ученый, имея верную, энергичную жену и неопубликованную монографию, может умирать спокойно. Вдова будет действовать напористей самого автора. Сыновья и дочери в этом отношении гораздо менее активны.

Возвращаюсь, однако, к “школе Сидорова.” Несмотря на яркость этого явления (это — не шутка, это действительно так), несмотря на то, что коллективными усилиями была создана красочная картина “передового промышленного и финансового капитализма,” по уровню своего загнивания ничуть не уступавшего развитым странам Запада, успехи этого направления исследований, если приглядеться, оказались не столь уж велики. Трест — высшая форма монополии — был обнаружен в России, кажется, только один. Подтвердилась связь некоторых компаний (например, в междуродной промышленности) с иностранными корпорациями и финансовая зависимость от них. Словом, оказалось справедливым многое из того, за что Сидоров критиковал Лященко.

В дальнейшем выявились совсем уж удручающие подробности. Знаменитый синдикат “Продуголь,” вошедший даже в школьные учебники, объединял, оказывается, шахты-аутсайдеры, расположенные на бедных, тонких угольных пластах. Чтобы как-то противостоять своим более удачливым конкурентам, они и объединились в синдикат.

Очень, конечно, жаль, что лучшие силы историков этого поколения, поколения “лейтенантов,” оказались задействованы на такой теме, которая мало что дала для познания России. Но виноват в этом не только и не столько Сидоров. В течение десятилетий, со школьной скамьи каждому новому поколению вдалбливалось одно и то же: “Тяжёлая индустрия — основа основ народного хозяйства.” Попробуйте теперь разуверить в этом целую страну, которая по пути индустриализации дошла едва ли не до полного разорения! Но представления о приоритетности промышленного развития свойственны не только жителям России. Это, наверно, общечеловеческая драма XX века.

Когда я говорю о “лучших силах” — это, конечно, не значит, что в “школе Сидорова” собрались все самые одаренные историки того поколения. Но это действительно было созвездие талантов. Вскоре им стало тесно на том “пяточке,” где их собрал учитель. Начались отходы на смежную тематику, в другие области. М. Я. Гефтер занялся методологией исторического исследования. В Институте истории под его руководством был создан сектор методологии, просуществовавший, впрочем, недолго. В партийных верхах было признано, что в секторе вызревают опасные идеи. В 1968 г., при разделении Института истории на два института (истории СССР и всеобщей истории) сектор методологии не попал ни в один из них, и его сотрудников растасовали по разным секторам. Сам Гефтер был прикомандирован к дирекции. В 1971 г. официально осуждению подвергся подготовленный сектором сборник статей “Историческая наука и некоторые проблемы современности.” Вскоре после этого М. Я. Гефтер был отправлен на пенсию. Из числа учеников Сидорова он, таким образом, первый подвергся партийной травле. Однако я опять забежал вперед.

Очень скоро от конкретно-исторического исследования монополистического

капитализма отошёл и Тарновский. Подлинное своё призвание он нашёл в проблемной историографии. Обладая в этой области особым чутьём, он умел безошибочно распознавать перспективные идеи и направления исторических исследований. Именно он первый по-настоящему оценил идеи и достижения А. М. Анфимова и его предшественников. В октябре 1970 г. К. Н. Тарновский защитил докторскую диссертацию по теме “Проблемы социально-экономической истории империалистической России на современном этапе советской исторической науки.” На мой взгляд, именно в области аграрных исследований, которую Сидоров считал вспомогательной по отношению к главному направлению, были достигнуты наиболее значительные успехи его школы. И связаны они с именами А. М. Анфимова, К. Н. Тарновского, М. С. Симоновой. Что же касается исконно “сидоровской” тематики, то до конца верен ей остался, пожалуй, лишь В. И. Бовыкин, талантливый исследователь, автор ряда монографий о финансовом капитале в России. Всё это говорит о том, что “школе Сидорова” мы обязаны не только мифотворчеством о передовом и загнивающим российском империализме, но и значительными положительными достижениями. Хорошо уже то, что Сидоров сосредоточил такие силы на изучении истории России начала XX века. Прежде этот отрезок отечественной истории (я бы сказал, — особый период истории России) был известен только по “Краткому курсу.”

* * *

В студенческие годы я бывал в Институте истории, помнится, лишь дважды — на докторских защитах Е. Н. Городецкого и А. Я. Авреха. Тогда же, на второй из защит, я впервые увидел Черменского. Тогда мне не могла прийти в голову мысль, что этот благообразный профессор, маленького роста и со старушечьим голосом, в будущем попортит мне столько крови. Впрочем, особая его злобность, кажется, угадывалась и по внешнему виду.

В 1967 г. я окончил Московский историко-архивный институт, защитив дипломную работу “Царский правительственный аппарат и III Дума” под руководством Н. П. Ерошкина. Ученый совет рекомендовал меня в аспирантуру, но на кафедре Ерошкина мест не было, к тому же я не имел московской прописки. Я уехал на родину, в Челябинск, и начал работу в областном архиве, имея смутные представления о своём будущем. Эти полтора года, проведенные под родительским кровом, сейчас мне вспоминаются как один из лучших периодов моей жизни. Видимо, действительно, надо было отдохнуть от тревог и волнений студенческой жизни, насыщенной самыми разными впечатлениями, а иногда и просто голодной.

Однако, где-то, кажется, около Нового года состояние спокойной безнадежности стало сменяться новыми надеждами и тревогами. Я вдруг получил письмо от И.Ф. Гиндина. Он предлагал на основе дипломной работы написать статью для журнала “История СССР.” Вскоре пришло письмо и от сотрудницы журнала Г. И. Щетининой, подтверждающее это предложение. Это было как гром небесный! Знающим людям не надо объяснять, что “История СССР” (ныне — “Отечественная история”) — серьёзный академический журнал, напечататься в котором для вчерашнего студента было неслыханной честью.

Конечно же, я быстро “сварганил” статью и отослал в журнал. Но переписка

с И. Ф. Гиндиным продолжалась. Теперь речь шла о моём поступлении в аспирантуру Института истории. Наконец, в апреле 1968 г. он даже позвонил мне на работу, и я растерялся, услышав в трубке его низкий голос. По этому голосу я представил его себе примерно шалыпинского телосложения. Всё это плохо укладывалось у меня в голове. Ибо с И. Ф. Гиндиным я прежде не был знаком, ничего его не читал и помнил его фамилию лишь по тому перечислению, которое влетало в моё ухо на семинарских занятиях: “...Гиндин... Тарновский... Волобуев...,” когда мои мысли витали совсем в другом месте.

Лишь потом, по рассказам самого Иосифа Фроловича и членов его семьи мне удалось установить ход событий.

Иосиф Фролович мечтал об учениках. Но в Институте истории было много докторов и мало аспирантов. На каждого доктора по аспиранту не хватало. Тогда Иосиф Фролович решил сам искать себе ученика. Осенью 1967 г. он пришел в Московский университет и попросил показать дипломные работы, защищенные в этом году. Не удовлетворённый находками, он направил свои стопы в Историко-архивный институт. Секретарь экзаменационной комиссии Мария Козина, неплохо знавшая наш курс, достала ему на выбор несколько дипломных работ, в том числе и мою. На ней Иосиф Фролович и остановился.

Мы встретились в мае 1968 г. Иосиф Фролович жил на улице Горького, в большой коммунальной квартире, где ютились три или четыре семьи. Пройдя по длинному коридору и выйдя на пяточок, где сходились двери во все комнаты, я вдруг увидел разговаривающего по телефону маленького старичка с косматыми бровями. Старичок говорил тем самым голосом! Увидев меня, он приветливо махнул рукой и показал дверь, которую надо было открыть.

Вскоре у Иосифа Фроловича был день рождения. Я был в числе приглашённых и впервые тогда увидел К. Н. Тарновского. Я был очарован и его внешностью, и благородной осанкой, за которой безошибочно угадывалось внутреннее благородство, и простотой обращения, и каким-то ему одному свойственным изяществом — в жестах, словах, позднее я убедился, — и в его манере писать. После этого мы были знакомы с ним около 19 лет. За это время между нами, кажется, не было ни одного недоразумения. Это редкий случай. Его дар историографа, на мой взгляд, во многом проистекал от того, что он умел внимательно слушать и ловить главную мысль.

Писать — всё равно что рассказывать. Я, например, не умею рассказывать “никому.” Когда я пишу, я обычно представляю себе какого-то человека, к которому и обращаю свой монолог. В прошлые годы, надо признаться, я “рассказывал” чаще всего именно Тарновскому.

На том же дне рождения, к сожалению, произошёл конфуз. Едва собрались гости и были наполнены бокалы, Иосиф Фролович взял слово для первого тоста и говорил его часа полтора, отвергая попытки членов семьи усадить себя на место. В конце речи гости начали наскоро выпивать и закусывать и разбежались вскоре после её окончания. На следующий день Иосиф Фролович выглядел смущённым, и мы с молчаливого согласия решили не придавать значения вчерашнему инциденту.

Это была трагедия последних лет жизни Иосифа Фроловича, может быть, и всей его жизни. Известно, что историк зреет очень медленно. Он должен десятилетиями начитываться, набираться фактов, совать свой нос куда надо и не надо, перерабатывать

в себе прочитанное и услышанное, пока не произойдет в сознании диалектический перелом и он не начнёт мыслить в масштабах не узкой своей темы, а целой эпохи. Наша Муза любит тех, кому за 40–50 лет. У Иосифа Фроловича, вследствие длительных посадок и других отвлечений от науки, этот перелом наступил сравнительно поздно — наверно, лет за 60. И едва ли не вслед за этим стало проявляться мозговое расстройство. Он высказывал блестящие идеи, но отклонения в его поведении становились всё более удручающими.

Мне кажется, что его болезнь, выставляя его в нелепом виде перед окружающими, долгое время щадила его творческие способности. Много позднее я редактировал одну из глав его монографии как статью для “Исторических записок.” Это было по-настоящему талантливо. Простодушным тоном, без нарочитых “аллюзий,” автор описывал порядки на дореволюционных казённых заводах, поразительно напоминавшие методы управления нашей “социалистической” промышленностью: тот же план, тот же вал, отсутствие понятия о себестоимости продукции, прямое финансирование производства из казны. Так были обнаружены исторические корни “развитого социализма.” Поразительно, но идеологические контролёры так и не обнаружили этой главной его “крамолы,” а заклевали впоследствии бедного старика за сравнительно невинные попытки “нового прочтения” Ленина. И за изобретённый им термин “новое направление,” в котором он объединял всех близких ему по духу историков.

Я надеюсь, я несколько дополнил своего учителя, подняв вопрос об исторических корнях колхозно-совхозного строя. Но я дошёл до этого, конечно, совсем в другой обстановке.

Осенью того же 1968 года я сдавал вступительные экзамены в аспирантуру Института истории. Дело обернулось не слишком удачно, и меня зачислили в заочную аспирантуру. С тем я и уехал опять в Челябинск.

Тем временем в Институте истории произошли важные события. Его разделили на два института. Первое время Институт истории СССР возглавлял академик Б. А. Рыбаков. Но он одновременно являлся директором и Института археологии, который рассматривал как свою законную “вотчину.” Туда он и удалился при первой возможности. Директором Института истории СССР стал П. В. Волобуев, его заместителем В. И. Бовыкин. К власти вновь пришла “школа Сидорова.” И. Ф. Гиндин, находившийся тогда в очень дружеских отношениях с Бовыкиным, добился перевода меня в очную аспирантуру. В январские морозы 1969 г. я получил бумагу, которая предписывала мне ехать в Первопрестольную и Белокаменную.

Институт в то время бурлил идеями “многоукладности.” Это был, действительно, более широкий подход к проблемам российской истории, чем прежняя узкая нацеленность на промышленные монополии и банки. Заседания сектора капитализма, ведущего в Институте, не укладывались в рамки рабочего дня и переносились на следующий присутственный день. Главными говорунами были мой шеф Иосиф Фролович и П. Г. Рындзюнский. Они с негодованием отвергали призывы Б. С. Итенберга ввести какой-нибудь регламент.

А. Я. Аврех держался как “сумрачный гений.” Он мало с кем общался, нас, аспирантов, похоже, не замечал. Любил неожиданные парадоксы и слыл очень остроумным человеком. Дамская половина сектора была без ума от его устных

выступлений и печатной продукции. Говорили об особом “авреховском стиле.” Таковой, действительно, существовал. Но я не вижу ни остроумия, ни глубины, ни изящества в такой, например, коронной его фразе: “Когда израненный буревестник революции упал на землю, на добычу слетелись совы реакции.”

Аврех, по моим наблюдениям, был законченный солипсист. Т.е. он, конечно, не думал, что весь мир — его представление, но он считал себя самым умным человеком из всех людей, когда-либо живших и живущих. Некоторое исключение он делал для своей жены и сына. Но для внучки такого исключения уже не делалось. Дедушка считал её пустой и глупой девицей. О всех героях своих исследований, начиная от царя и кончая меньшевиками, он всегда писал с величайшим презрением. Только большевиков не трогал — по понятным причинам.

Очень быстро я заметил, что Арон Яковлевич не в ладах с моим шефом. Причем Гиндин предлагал посидеть по-французски в кафе и выяснить отношения. Аврех же отвечал: “Только ещё в кафе мне не хватало Вас, Иосиф Фролович!”

Вскоре, однако, Арону Яковлевичу пришлось обратить внимание на гиндинского аспиранта. В конце 1969 г. появилась моя статья в “Истории СССР.” С задиристостью молодого петушка я в ней немного поклевал маститого учёного.

Аврех считал, что в России после окончания революции 1905–1907 гг. сохранялась “революционная ситуация,” или “общая революционная ситуация” (этот последний термин был почерпнут из документов Коминтерна). В таких условиях, писал он, и реформы, и их отсутствие вели к одинаковому результату — к росту революционной активности масс. Получалось, что революция была неизбежной в любом случае — удалось бы или не удалось провести реформы.

Такой фатализм меня не устраивал ещё тогда, когда я был студентом. Критические замечания в адрес Авреха я перенес в статью из своей дипломной работы. Я писал, что сохранявшееся среди народа недовольство “не только не закрывало для третьейюньской монархии всех путей поиска выхода из кризиса, но, наоборот, требовало от царизма максимума мобильности, гибкости и дальновидности, чтобы приспособиться к новым условиям и продлить своё существование.”

Реакция Арона Яковлевича была неожиданой. На ближайшем профсоюзном собрании он заявил протест по поводу того, что И. Ф. Гиндин подстрекает своего аспиранта и что аспирантам почему-то разрешено критиковать докторов наук. К счастью, на том собрании не было ни меня, ни Иосифа Фроловича. И, конечно, собрание не приняло по поставленному вопросу никаких решений. Но обиженный доктор наук так просто это дело не оставил.

В начале 1972 г. Арон Яковлевич получил возможность отыграться. Я закончил кандидатскую диссертацию на тему “Внутренняя политика третьейюньской монархии в области местного управления.” Где-то в конце января состоялось обсуждение в секторе. Аврех первым взял слово и говорил целый час, всё больше распаяясь. В конце концов он призвал брать пример со своего сына, который закон Тафта-Хартли (один из важнейших законов Америки) изложил всего на 15 страницах, а диссертант размазал на 500 страниц эти никчемные столыпинские проекты. И вообще налицо явный отход от марксизма. Если сектор все-таки рекомендует эту диссертацию к защите, то он, Аврех, будет вынужден выступить на Учёном совете.

Присутствующие были явно перепуганы. Только В. В. Шелохаев, мой друг по

аспирантуре, поддержал меня. А. М. Анфимов, председательствовавший на заседании, казался самым напуганным. Он долго склеивал какие-то обрывки фраз насчёт того, что “ныне к диссертациям предъявляются повышенные требования” и, наконец, закрыл заседание.

Ехали мы из Института с Иосифом Фроловичем вместе — на “скорой помощи.” Решили попить кофе в Доме учёных, но такси не попало, а нашёлся “левак” на скорой. Иосиф Фролович шутил по этому поводу, стараясь меня ободрить, но мне было не до шуток.

По Институту быстро разнеслась весть о моём отходе от марксизма. В. В. Кабанов, с которым мы были знакомы ещё в Историко-архивном институте, побежал за разъяснениями к учёному секретарю С. В. Тютюкину. К удивлению Кабанова — и моему тоже — Тютюкин задумчиво ответил: “Ты знаешь, что-то такое тут действительно есть...” С Тютюкиным, одним из последних учеников Сидорова, мы всегда были в хороших отношениях — с тех времён и до нынешних дней. Но почему-то он не раз произносил такие вот задумчивые фразы — в самый неподходящий для меня момент. А словоохотливый Кабанов поделился этим не только со мной, но, кажется, и со всем Институтом.

Через несколько дней у Бовыкина состоялось совещание по вопросу о том, как быть со мной. Тем более, что срок аспирантуры уже заканчивался. Пришли И. Ф. Гиндин, М. С. Симонова, К. Н. Тарновский, вышедший после болезни на работу. Пригласили и меня. Входя в кабинет Бовыкина, я успел услышать, как Симонова убеждала его: “Примите его на работу!” Быть может, оттого, что Бовыкин крепко не любил Авреха, решение было в общем-то в мою пользу. Мне предложили доработать диссертацию.

Доработка свелась в основном к сокращению. Аврех, почувствовав, что общественное мнение не на его стороне, больше не вмешивался. На новом обсуждении мою диссертацию рекомендовали к защите, для верности немного изменив заголовок: “Крах внутренней политики третьей ионьской монархии в области местного управления.” По ходатайству П. В. Волобуева нам с В. В. Шелохаевым дали возможность прописаться в Москве, и институт смог принять нас на работу.

В июне 1972 г. состоялась моя кандидатская защита. Оппонировали В. С. Дякин и Н. П. Ерошкин. С Валентином Семёновичем Дякиным с той поры мы поддерживали контакт вплоть до нынешнего года. Встречались, переписывались. Он говорил, что у нас “родство душ.” Последнее его письмо я вынул из почтового ящика в январе этого года, вернувшись из Петербурга с его похорон. После утраты родителей эти четыре потери для меня самые тяжёлые — И. Ф. Гиндина (1980), К. Н. Тарновского (1987), Н. П. Ерошкина (1988), В. С. Дякина (1994) — людей, которые сильно повлияли на мою судьбу и на меня как человека.

Защита прошла вполне удачно. После этого, как водится, отправились “отмечать.” Я не перестаю удивляться тем временам. Всего за 170 рублей я накормил и напоил весёлую ораву своих друзей и коллег. Правда, на следующий день наступило похмелье. В кармане остались считанные копейки, а один из участников вчерашнего пиршества потребовал срочно вернуть долг. К сожалению, этому похмелью суждено было затянуться.

Конечно, идеологический контроль в те времена у нас в стране существовал для

всех, и с конца 60-х гг. началось его ужесточение. Но мы, сотрудники Института истории СССР и особенно нашего сектора, с некоторых пор, примерно с 1971 г., почувствовали себя в особом положении. Мы были словно в осажденной крепости. Нам шли в строку каждое лыко, приписывали какие-то явно надуманные “ошибки,” и под обстрел иногда попадали люди, не способные ни на какую крамолу. В то же время, как нам казалось, наши коллеги из других научных учреждений позволяли себе немислимые для нас вольности.

Так, например, Е. Д. Черменский всё более смело и с меньшим числом оговорок проводил мысль о том, что в России, начиная с 1906 г., установилась конституционная монархия. Эта точка зрения находила отклик у зарубежных россиеведов. Израильский историк Шмуэль Галай назвал Черменского “одним из лучших советских историков.” Страшное дело — враг похвалил! Но Евгению Дмитриевичу и это сошло с рук. Правда, тут дело, наверно, в том, что “один из лучших советских историков” охотно выполнял “социальные заказы.” Стоило “ответственному товарищу” указать на человека, допустившего ошибки, как Черменский вцеплялся в него с необыкновенной остервенелостью.

Но тогда другой пример. Б. Н. Миронов из Ленинградского отделения нашего же Института никогда не выполнял “социальных заказов.” И уже тогда, в те опасные годы, применял и пропагандировал социологические методы исследования, почерпнутые из “буржуазной” науки. И не имел никаких особых неприятностей. Только однажды у него сняли статью из “Исторических записок.” Но это была самодеятельность наших институтских ретроградов, прежде всего П. Г. Рынзюнского. В те же годы Борис Николаевич спокойно защитил докторскую диссертацию.

Я всё же думаю, что не могла вестись травля против нас с такой настоящей страстью, с такой истерией, если бы в ней не был замешан какой-то личный момент. Позднее, размышляя над всем этим, припоминая носившиеся тогда неясные слухи, я пришел к некоторым предположениям. Не знаю, насколько они верны.

В 1965 г. на пост заведующего Отделом науки и высших учебных заведений ЦК КПСС был назначен С. П. Трапезников, соратник Л. И. Брежнева с молдавских времен. Говорили даже, что через своих жён они состояли в родстве. Занимая в партийной иерархии довольно скромное положение, Трапезников начал сосредоточивать в своих руках весь контроль в области идеологии. И здесь, по-видимому, он столкнулся с Отделом пропаганды и агитации ЦК КПСС, во главе которого стоял быстро дряхлевший М. А. Суслов. В отличие от Трапезникова, он был членом Политбюро. Между двумя отделами, по-видимому, существовало соперничество.

Наш директор П. В. Волобуев был вхож в сусловский отдел. Не раз, чуть ли не среди ночи, Павла Васильевича забирали, отвозили на подмосковную дачу в глухом лесу, и там он в составе авторского коллектива трудился над какими-то партийными документами. В те годы он быстро шёл в гору. Был делегатом XXIV съезда КПСС, был избран членом-корреспондентом АН СССР. А у Трапезникова “членкорство” долго не получалось. Через Отделение истории он проходил без помех, а на Общем собрании физики и химии забрасывали его чёрными шарами. Я думаю, что Трапезников вообразил, будто Волобуев хочет занять его место. Возникло желание выдернуть соперника из директорского кресла, скомпрометировать и загнать куда-

нибудь подальше. Это оказалось делом нелёгким. Говорили, что готовые уже решения не раз блокировались Суловым. Тогда и началась кампания против нашего Института.

Как я уже говорил, первые толчки мы ощутили где-то в 1971 г. В начале 1972 г. умер Л. М. Иванов, многолетний заведующий сектором капитализма. Но, кажется, ещё при нём сектор разделили — на секторы капитализма и империализма. Размежевание между “капиталистами” и “империалистами” было очень условным. Так, И. Ф. Гиндин был отнесён к первым, а я — к последним. Во главе сектора капитализма был назначен А. М. Анфимов. Исполняющим обязанности заведующего сектором империализма стал К. Ф. Шацилло, один из первых учеников Бовыкина, прекраснодушный либерал, несколько, правда, вспыльчивый, но отходчивый. Однако он недолго нами заведовал.

Главным объектом для нападок подручные Трапезникова избрали ту самую “многоукладность,” с которой мы все тогда носились. По мнению “руководящих товарищей,” этой самой концепцией мы ставили под сомнение победу капитализма в нашей стране, а тем самым — и социалистический характер Октябрьской революции. Ибо социализм, как известно, идёт на смену капитализму. А как быть, если вместо капитализма какая-то “многоукладность”?

Помню одно заседание в нашем секторе, на котором присутствовал Ф. М. Ваганов, один из помощников Трапезникова. Отвечая на начавшуюся тогда критику, Шацилло процитировал одну из речей первого секретаря ЦК КП Узбекистана Ш. Р. Рашидова, в которой упоминался термин “многоукладность.” Все знали, что Рашидов не имеет о ней представления, а речь писал один узбекский историк, весьма склонный к плагиату. Но ведь “золотое слово” сорвалось с уст кандидата в члены Политбюро!

Ваганов озадаченно посмотрел на Шацилло, а после заседания, мы все видели, зажал его в угол и стал что-то настойчиво ему втолковывать. Оказалось, он сказал, что не следовало цитировать Рашидова без консультаций с вышестоящими партийными инстанциями. После этого Шацилло подал в отставку.

Новым “исполняющим обязанности” стала И. М. Пушкарёва. Она почти всю жизнь занималась рабочим классом, главным образом, железнодорожниками, и была известна не своими научными достижениями (таковых у неё не водилось), а весёлым нравом. После назначения весёлый нрав как рукой сняло. Во взоре появилась важная задумчивость, за которой легко угадывалось мнительное беспокойство, всерьёз ли её воспринимают как заведующую. Особые подозрения пали почему-то на меня. Начались придирки, на которые я отвечал со свойственной мне несдержанностью. Словом, из всей череды быстро сменявшихся заведующих именно Пушкарёва глубже всех засела у меня в печёнках.

Однако её, как “исполняющую обязанности,” тоже вскоре заменили — теперь уже на “настоящего” заведующего, коим стал В. С. Васюков, лицо, на этом посту довольно случайное и мало чем себя проявившее.

Тем временем назревали события с моей диссертацией, отправленной в ВАК на утверждение. О ней не поступало никаких известий — это было тревожным признаком. Мы с К. Н. Тарновским оказались товарищами по несчастью — его докторская диссертация лежала в ВАКе с 1970 г.

Было ясно, что моя диссертация попала к “чёрному рецензенту.” Но к кому?

Попытки заслать в ВАК шпионов не приносили успеха. “Отослали в Ростов на рецензию!” — не моргнув глазом, отвечал член экспертной комиссии одному моему агенту. Хотя было очевидно, что слать в Ростов на рецензию совершенно некому.

В поле моего зрения попал и Е. Д. Черменский. К. Н. Тарновский, сохранявший с ним нормальные отношения, однажды прямо спросил его, не он ли мой читатель. Черменский ответил отрицательно.

Через год всё выяснилось неожиданным образом. Технический секретарь экспертной комиссии ВАК Н. И. Морковина с большим сочувствием относилась к Тарновскому. Он поговорил с ней обо мне, и она своё сочувствие распространила и на меня. Во время одного из моих визитов в ВАК она выдала мне Черменского. После этого она же буквально выбила из него отзыв. Конечно же, он был отрицательный. Рецензент писал, что он “затрудняется” рекомендовать мою диссертацию к утверждению. Это не помешало ему впоследствии брать из неё факты и делать на неё ссылки.

Немного остыв и поразмыслив над рецензией, я начал сочинять ответ. Потом я повёз его к Константину Николаевичу, и мы вместе доводили его до совершенства. Тарновский убил со мною целый день. Но зато ответ получился на славу. Все нападки и придирки Черменского были разбиты в пух и прах. Оставалась, правда, одна трудность. В диссертации говорилось, что монархия имела свою массовую социальную опору в лице общинного крестьянства. Этот тезис в своё время выдвинул А. Я. Аврех, основываясь на ленинских высказываниях, за что вскоре и был раскритикован (Аврех, а не Ленин). “В грехах не кайтесь,” — напутствовал меня Тарновский, провожая на заседание экспертной комиссии.

Пока зачитывался ответ, я сидел в коридоре перед дверью. Потом позвали. Председательствовал А. М. Сахаров, ныне покойный. Он сказал, что комиссия удовлетворена ответом, но остались некоторые неясности. Как насчёт опоры на крестьянство? Я вынул из кармана заранее заготовленную ленинскую цитатку. Сахаров поморщился и стал объяснять, что её надо понимать не в прямом, буквальном смысле, а как раз наоборот. Признаться, я так и не понял суть его объяснений. Понял одно: классики марксизма-ленинизма бессильны перед волей высшего начальства. Мне предложили внести в диссертацию исправления и послали это решение на утверждение Президиума ВАК.

В 1973 г. Волобуева всё же сняли. Он был отправлен рядовым сотрудником в маленький и захудалый Институт истории естествознания и техники. На пост директора нашего Института был назначен А. Л. Нарочницкий, редактор журнала “Новая и новейшая история,” недавно избранный академиком. Кое-кто тогда говорил, что это “не худший вариант,” ибо назначен всё же не партийный служака, а человек из своей, академической среды. Но люди, его знавшие, остерегались нас обнадёживать.

Наблюдая за Алексеем Леонтьевичем на Учёных советах и других широких собраниях, я часто вспоминал прокурора из толстовского “Воскресения.” Л. Н. Толстой писал, что этот прокурор от рождения был глуп, но имел несчастье окончить гимназию с золотой медалью, а затем и университет, отчего его глупость стала совсем уж непроходимой. Как-то раньше мне и в голову не приходило, что академик может быть глуп. Никогда не занимавшийся российской историей, А. Л. Нарочницкий, похо-

же, уверовал, что избрание академиком придало ему способность разбираться во всех её периодах и проблемах. Явившись в институт, он принялся рьяно искоренять “ошибки.” Сразу было закрыто несколько тем, из издательства отозвали несколько монографий. Наш сектор, считавшийся самым “крамольным,” ожидал большой грозы.

Гроза действительно разразилась — её подтолкнули события, связанные с появившейся в журнале “Вопросы истории КПСС” (1974, №5) рецензией Е. Д. Черменского и Е. Ф. Ерыкалова на книгу С. В. Тютюкина “Война, мир, революция. Идеиная борьба в рабочем движении России, 1914–1917 гг.” Автор обвинялся в излишне подробном пересказе “враждебных ленинизму концепций,” в преувеличении влияния “мелкобуржуазных” партий, в подкопе под идею “гегемонии пролетариата” и в других страшных грехах.

Обсуждение рецензии на секторе было бурным. На сторону рецензентов стали только А. В. Пясковский, закалённый боец “пятой колонны” в нашем Институте, и И. М. Пушкарёва, занявшая место в рядах этой колонны. Другие сошлись во мнении, что Ерыкалов и Черменский написали прямо-таки злостную рецензию. Особо возмутительным казался пронизывавший её начётнический дух “Краткого курса.” Заседание затянулось допоздна и было перенесено на следующий присутственный день.

Во время перерыва Тютюкин, по распоряжению Васюкова, написал заключительную резолюцию, в которой все замечания рецензентов признавались справедливыми. Васюкову хотелось быстрее отрапортовать: работа проведена, ошибки признаны. Но сектор не согласился с такой резолюцией. По предложению Тарновского в неё была включена фраза: “Вместе с тем сектор не считает справедливыми некоторые замечания рецензентов.” Васюков прилагал все усилия, чтобы отделаться от этой вставки: “Ставлю на голосование документ без фразы.” — “Но это нарушение процедуры,” — парировал Тарновский. В конце концов документ был принят “с фразой.” Против голосовали только А. В. Пясковский, И. М. Пушкарёва, В. С. Васюков и Г. М. Деренковский, считавший, что рецензия несправедливая, но не надо обострять отношений. Мы разъехались в летние отпуска, уверенные, что с нами “что-то сделают.”

И действительно, была образована комиссия по рассмотрению деятельности сектора империализма. В неё вошли, насколько я помню, П. Н. Соболев (признанный глава “пятой колонны”), В. И. Буганов, Л. Г. Бескровный, В. И. Бовыкин, отошедший от Волобуева в разгар событий и порвавший почти со всей сидоровской “школой.” От нашего сектора включили Васюкова и Симонову, секретаря парторганизации. Комиссия всё лето рылась в наших протоколах, которые, как на грех, оказались слишком подробными, и нашла в работе сектора недостатки, “переросшие в систему взглядов, чуждых советской исторической науке.” Васюков и Симонова отказались подписать заключение комиссии.

На основании решения комиссии дирекция распустила сектор империализма. Пятерых сотрудников, в том числе Тарновского, Симонову, Васюкова, Авреха, рассредоточили по другим секторам. Остальных объединили в новый сектор буржуазно-демократических революций. Заведующим был назначен В. И. Бовыкин.

На организационное собрание нового сектора они пришли вдвоём — Нарочницкий и Бовыкин. Алексей Леонтьевич выступал как лев, царь зверей, явившийся на

заседание овечек. Грозно прорывав краткую речь о необходимости исправления ошибок, он величаво удалился. Бовыкин же, оставшись с нами, начал мурлыкать что-то ласково-успокоительное. Началось определение тем будущей работы. Каждый получил то, что хотел. Но... “Вы, Валентин Валентинович (Шелохаев), будете писать о кадетах, но не о кадетах как таковых, а об их контрреволюционной роли. Вы, Павел Николаевич, будете писать о церкви, но не просто о церкви, а о её борьбе с революцией...” В дальнейшем, надо сказать, он жёстко выдерживал, чтобы писали “не просто о кадетах и не просто о церкви.”

Но в ближайшее время мы были задействованы совсем на другой работе. Готовился Учёный совет по критике ошибок, допущенных “новым направлением.” Доклад хотел сделать сам академик. Наш сектор для его доклада должен был выявить все “ошибки.” Началось распределение, кто у кого будет их искать. “Вы будете искать у Гиндина,” — сказал мне Бовыкин.

Два дня я ходил, как оплеванный. Наконец, явился к Бовыкину и сказал, что у Гиндина я ошибок искать не буду. “Вы мне бросьте, Павел Николаевич!” — с сердцем сказал Бовыкин. — “Но это же не этично! Он мой учитель!” — воскликнул я. Наши глаза встретились, и я внезапно прочитал в его взгляде понимание. “Ну хорошо, тогда ищите у Волобуева.” — “Но у него уже искали.” — “Искали, да не всё нашли. Как там насчёт опоры на крестьянство?” Я пошел в библиотеку, достал злополучный том с материалами советско-итальянского симпозиума, который чаще всего использовался для поиска ошибок, прочитал выступление бывшего директора и обнаружил, что он не разделяет этот тезис Ленина-Авреха. С удовольствием сделал соответствующую выписку и вручил её Бовыкину. Так мне удалось отвертеться от этого некрасивого дела. Не буду называть тех, кто не посмел отказаться.

Вскоре состоялся Учёный совет. Громовая речь Нарочницкого продолжалась, кажется, около двух часов — мои коллеги неплохо снабдили его материалом. Выступали и другие разоблачители.

После Учёного совета у меня была назначена встреча с профессором Коичи Ясудой. Но когда заседание закончилось, я нигде его не нашёл. Мы встретились дня через два. Я спросил, куда же он тогда исчез. Мой японский друг начал было ссылаться на свой живот, а потом сказал: “По правде говоря, мне надоело слушать вашего директора. Вы, русские, терпеливый народ. У нас в Японии давно бы затопали ногами, засвистели: давай, слезай, заканчивай! А вы сидите и слушаете.”

На этом месте, наверно, самое время опустить занавес, поставить точку. Что это было? Драма? Трагикомедия? Печальный фарс? Но это для тех, кто смотрит со стороны. Для нас это была целая полоса нашей жизни.

Несколько слов для эпилога.

Мне пришлось вырвать из диссертации “опору на крестьянство.” В конце 1974 г. меня утвердили в звании кандидата исторических наук — через два с половиной года после защиты.

Тарновского так и не утвердили. В 1981 г. в Ленинградском отделении он защитил новую диссертацию — о ленинской “Искре.” Дякин мне говорил, что они присудили ему докторскую степень фактически за ту, первую диссертацию.

Анфимова отстранили от заведования сектором. Позднее он печатно признал ошибочными некоторые свои взгляды. Это позволило ему издать две прекрасные

книги о крестьянстве на рубеже XIX–XX вв. Как-то язык не поворачивается осудить его за такой шаг. И не знаешь, кого при этом вспомнить. То ли Галилея, который топнул: “А всё-таки она вертится!” То ли пушкинского Савельича из “Капитанской дочки,” который советовал: “Ты плюнь да и поцелуй ручку-то!”

Гиндина вскоре отправили на пенсию. Его последняя монография в целом виде так и не опубликована.

Бовыкин заведовал сектором до 1988 г. Сейчас у него нелёгкие времена, и не хотелось бы бросать в него камень. Мы долго с ним работали, прошли через ряд конфликтов и в конце концов даже сработались. С ним можно было заключать джентльменские соглашения, в трудных случаях он приходил и на помощь. Но из песни слова не выкинешь: в своё время он был слишком ортодоксален и слишком много оказал услуг тем, кто громил наш Институт.

Бовыкин единственный из “школы Сидорова,” кому удалось создать свою собственную “школу.” Среди его учеников есть дельные и талантливые люди. Но, конечно, этой “школе” далеко до той, сидоровской.

“Школа Сидорова” распалась и постепенно сходит со сцены. Грустно то, что достойной смены ей я что-то не вижу.

Декабрь 1994.
Саппоро